АЛЕКСАНДР ДОБРОЯРОВ

ВОСЕМНАДЦАТЬ



НЕ УХОДИТЬ ПЕРВЫМ

КНИГА 1

18+

Не уходить первым

Александр Доброяров

Восемнадцать

«Автор»
2026

Доброяров А.

Восемнадцать / А. Доброяров — «Автор», 2026 — (Не уходить первым)

Ростов-на-Дону, 1999 год. В день своего восемнадцатилетия Макс Ветров разгружает помидоры на Центральном рынке, получает от друга поддельные духи и помогает незнакомке завести машину. Последняя услуга обходится дороже всего: женщина оказывается женой человека, которому в городе не принято отказывать.Макс умеет договариваться, нравиться и замечать чужие слабости. Ему кажется, что этого достаточно для любой жизни. Но тайный роман затягивает его в чужие дела, а встреча со студенткой-медиком Кариной впервые ставит перед вопросом, на который нельзя ответить обаятельной улыбкой.Южный город, рыночные авантюры, верный друг и любовь, последствия которой придётся нести годами. Первая книга цикла «Не уходить первым».

© Доброяров А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Рынок 5
Глава 1. Восемнадцать 5
Глава 2. Ателье 11
Глава 3. «Шанель от Бублика» 15
Глава 4. Гроза 18
Глава 5. Когда муж в командировке 21
Глава 6. Арсен 25
Глава 7. Утро ужаса № 1 29
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Александр Доброяров
Восемнадцать

Часть первая. Рынок

Глава 1. Восемнадцать

В день, когда мне исполнилось восемнадцать, я разгрузил одиннадцать тонн турецких помидоров, подрался из-за тележки с человеком, которого все на рынке звали Самоваром, и познакомился с женщиной, из-за которой через полтора года уехал из родного города в тамбуре поезда с одним рюкзаком.

Если бы мне тогда кто-нибудь это рассказал, я бы не поверил. Нет, вру. Поверил бы. И всё равно пошёл бы к той машине.

Но по порядку.

Центральный рынок Ростова в августе девяносто девятого пах так, как с тех пор не пахнет ни одно место на земле: дынями, бензином, вяленой рыбой, дешёвыми духами и деньгами. Деньги тогда пахли отдельно — потными ладонями и типографской краской новых пятидесятирублёвок, которые торговки прятали в лифчики, а мужики — в носки.

Я работал на рынке четвёртый год. Начинал с того, что таскал ящики за двадцать рублей в день и горячий беляш. К восемнадцати у меня была своя тележка, свои постоянные клиенты и репутация человека, который может достать что угодно — от аккумулятора для «Жигулей» до справки из поликлиники. Не спрашивайте как. Я и сам не всегда понимал. Просто люди рядом со мной почему-то хотели договориться.

— Ветров! — заорал Гоша через весь фруктовый ряд, размахивая чем-то над головой. — С днём рождения, старый!

Гоша Бублик был моим лучшим другом, и это всё, что про него нужно знать в начале. Остальное вы узнаете сами, и, поверьте, лучше узнавать это постепенно, как дозу облучения.

Он протиснулся между бабкой с семечками и грузчиком-армянином, сияя, как новогодняя гирлянда, и сунул мне в руки флакон. Флакон был квадратный, с золотой крышкой и надписью «CHANNEL № 5».

— Через два «эн», — сказал я.

— Чего?

— «Шанель» пишется с одним «эн», Гоша.

Гоша посмотрел на флакон с тихой скорбью человека, у которого только что умер бизнес-план.

— У меня их сорок ящиков, — сказал он.

— Сорок ящиков женских духов. Ты подарил мне на восемнадцать лет женские духи.

— Мужской вариант не налили, — с достоинством ответил Гоша. — Пахнет, кстати, нормально. Почти как настоящие. Нюхни.

Я нюхнул. Пахло ацетоном, ландышами и чем-то, что напоминало подсобку школьного кабинета химии.

— Шикарно, — сказал я. Гоша просиял. Друзьям нужно врать в правильные моменты, это я понял лет в пятнадцать. Правду я берёг для тех, кто мог её вынести.

С Самоваром мы сцепились около двух часов дня. Самовар был огромный, круглый, с маленькой головой и привычкой брать чужие тележки, пока хозяин отвернулся. В тот день он взял мою.

Драться я не любил. Это неэффективно: даже если выиграешь, у тебя разбитые кулаки и враг, который будет помнить. Поэтому я сделал то, что делал всегда: посмотрел на него внимательно.

В моей жизни это умение появилось само, как у других появляется слух или способность к математике. С четырнадцати лет я жил один — отец сидел, мать уехала ещё раньше, и про неё мы не будем, — и выжить в одиночку на рынке можно было, только если понимаешь людей быстрее, чем они понимают тебя. За три секунды. Чего человек боится. Чего хочет. Чего ему не хватает так сильно, что он об этом даже не знает.

Самовар хотел, чтобы его уважали. Боялся выглядеть дураком перед своими. А не хватало ему, судя по пятну от кетчупа на майке и тоскливым глазам, обеда и женщины, которая этот обед приготовит.

— Слушай, — сказал я, — бери тележку. Я серьёзно. Мне Ашот обещал новую. А эта всё равно скрипит, позорище. Не хочу, чтобы ты с ней ходил, люди засмеют.

Самовар моргнул. Посмотрел на тележку. Тележка как раз жалобно скрипнула.

— Сам на ней катайся, — буркнул он и отпустил ручку.

Со стороны это выглядело как драка, которой не было. Мне потом три человека рассказывали, как я «чуть не завалил Самовара». Так рождаются легенды: из ничего и чужой неуверенности.

Но одну вещь я в тот день всё-таки проиграл. Пока мы смотрели друг на друга, кто-то из его ребят вытащил у меня из заднего кармана триста рублей — всё, что я собирался потратить на день рождения.

Я заметил это только вечером. И решил, что раз денег нет, праздновать буду просто так. Пройдусь пешком по Пушкинской, куплю пива на последнюю мелочь и посижу на лавке, как взрослый человек, которому исполнилось восемнадцать и которому нечего терять.

Важная деталь: когда тебе нечего терять, ты принимаешь самые опасные решения в жизни. Запомните это. Я — так и не запомнил.

До Пушкинской я всё-таки дошёл не сразу. Сначала зашёл домой.

Домом это называлось условно. Однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного барака на Нахаловке, построенного пленными немцами в сорок седьмом году и с тех пор ни разу не ремонтированного. Деревянная лестница, которая стонала на каждой ступеньке, как старуха. Общий туалет во дворе — для тех, у кого не работал свой, а у меня он работал через раз. Кухня два на два метра, в которой одновременно мог находиться один человек и одна мысль.

Отец получил эту квартиру от завода в восемьдесят третьем. Тогда он ещё был сварщиком шестого разряда, ударником, с фотографией на доске почёта. Я видел эту фотографию: молодой мужик с широкой улыбкой и чубом, совсем не похожий на того, кого я знал. Фотографию мать забрала с собой, когда уходила. Единственное, что она забрала, кроме сумки.

После её ухода отец пил два года без перерыва. Потом завод встал, его сократили. Потом он связался с какими-то людьми, которые угоняли машины и разбирали их на запчасти в гаражах за Северным. Потом его взяли. Мне было четырнадцать. Шесть лет общего режима. Колония в Новочеркасске, сорок километров отсюда. Я ни разу к нему не ездил.

Он писал мне письма. Раз в два-три месяца. Кривым почерком, на листках в клеточку, с ошибками в каждом слове. Я их не читал. Складывал в коробку из-под ботинок, нераспечатанными, на антресоль. Их там было уже двадцать три.

В тот вечер, в день моего восемнадцатилетия, в почтовом ящике лежало двадцать четвёртое.

Я поднялся домой, сел на табуретку на кухне и долго смотрел на конверт. Потом — сам не знаю зачем — вскрыл.

«Сынок. Поздравляю тебя с восемнадцатилетием. Ты теперь мужчина. Я знаю, что ты мои письма не читаешь. Мне Людка с Нахаловки писала, что видела, как ты их в мусорку выбрасываешь. Ничего. Я бы тоже выбрасывал. Хочу сказать тебе одно. Не будь как я. Я всю жизнь думал, что если уйти первым, то не так больно. Мать твоя ушла, а я думал — сам виноват, надо было раньше. Не надо раньше. Надо оставаться. Это трудно, я знаю. Я не смог. Ты сможешь. Ты сильнее меня. Освобождаюсь в две тысячи первом, в феврале. Если захочешь — встреть. Если не захочешь — пойму. Твой папа».

Я перечитал письмо два раза. Потом аккуратно сложил, вложил обратно в конверт и положил в коробку на антресоли. Двадцать четвёртым.

Мне было восемнадцать. Я был уверен, что умнее отца. Что его совет — это совет неудачника, сидящего в колонии. Что я никогда не стану таким.

Я не знал тогда, что «надо оставаться» — это единственное, чему мне предстоит учиться следующие двадцать семь лет. И что учиться я буду хуже, чем он.

Про свои четыре года между четырнадцатью и восемнадцатью я расскажу коротко. Потому что это не та история, которую стоит рассказывать подробно. И потому что в ней нет ничего, кроме работы.

Когда отца увезли, ко мне пришла женщина из опеки. Толстая, в мохеровом берете, с папкой. Сказала, что меня определят в интернат. Я сказал, что у меня есть тётя в Батайске, которая будет за мной смотреть. Тёти в Батайске не было. Но женщина из опеки хотела домой, у неё было ещё двенадцать адресов, и я это видел. Я дал ей адрес, который придумал на ходу. Она записала. Больше она не приходила.

Это был первый раз, когда я понял, что умею. Видеть, чего человек хочет, и давать ему дорогу.

На следующий день я пошёл на рынок. Не воровать — продавать. У отца в гараже остались запчасти: две коробки свечей зажигания, генератор от «шестёрки», три фары и ящик болтов. Я разложил всё это на газете у южного входа, где тогда стояли такие же, как я, и к вечеру продал половину.

На вырученные деньги купил хлеба, кильки в томате и пачку чая. Первый ужин, который я заработал сам. Я ел его на этой кухне два на два, один, и мне было не жалко себя. Мне было интересно.

Потом были ящики. Потом тележка. Потом Ашот, который заметил, что я умею считать в уме быстрее калькулятора, и стал давать мне сводить его недельную выручку. Потом тётя Галя, которая подкармливала меня таранью и называла «сиротинушкой», пока я не попросил её перестать. Потом Гоша, который жил в соседнем бараке и приносил мне по воскресеньям мамины пирожки, завёрнутые в «Комсомольскую правду», и никогда не говорил, что это из жалости.

За четыре года я ни разу не попросил ни у кого денег. Ни разу не украл. Ни разу не заплакал. Я этим гордился.

Только гордиться, как я потом понял, было нечем. Потому что человек, который ни разу не попросил и ни разу не заплакал, — это не сильный человек. Это человек, который ни разу никого не подпустил достаточно близко, чтобы попросить.

Но в восемнадцать я этого не знал. В восемнадцать я надел единственную чистую футболку, пересчитал последнюю мелочь и пошёл праздновать на Пушкинскую.

Пушкинская в августе вечером — это отдельный Ростов. Платаны, старые фонари, пары на лавках, девушки в коротких юбках, которые делают вид, что гуляют, а на самом деле охотятся. Я шёл с бутылкой «Балтики» в руке и чувствовал себя свободным и очень бедным одновременно.

Машину я услышал раньше, чем увидел. Мотор кашлянул, потом ещё раз, потом издал звук, с каким, наверное, умирают старые киты. Тёмно-синяя «Вольво», модель, которую в Ростове можно было пересчитать по пальцам. Встала прямо посреди улицы, перегородив полосу. Сзади уже сигналили.

Из машины вышла женщина.

Если вы ждёте, что я сейчас скажу «и мир остановился», — нет. Мир не остановился. Сзади всё так же сигналил «Москвич», где-то орал магнитофон с «Руки вверх», а у меня в руке теплело пиво. Остановился только я.

Ей было лет тридцать пять. Невысокая, тёмные волосы собраны небрежно, как будто она собиралась впопыхах и всё равно знала, что выглядит хорошо. Светлое платье, простое и дорогое — я тогда не разбирался в одежде, но разбирался в деньгах, а это платье стоило как моя тележка вместе с годом работы. Она посмотрела на капот с такой спокойной ненавистью, что я сразу понял: машина не её. То есть оформлена, может, и на неё, но выбирала не она, и гордится ею не она.

А ещё я понял, что она очень давно не смеялась. Не знаю, как я это видел. Видел, и всё.

— Помочь? — спросил я.

Она обернулась. Оценила меня за одну секунду: футболка с рынка, рваные кроссовки, пиво, нос, сломанный в пятнадцать лет. Пацан. Я видел, как она это решила, и видел, что решение ей не понравилось — не я не понравился, а то, что помощи придётся просить у пацана.

— Вы разбираетесь в шведских машинах? — спросила она вежливо, как спрашивают у официанта, есть ли в меню рыба.

— Я разбираюсь в машинах, которые глохнут на Пушкинской, — сказал я. — Это все машины. Откройте капот.

Она улыбнулась. Чуть-чуть, одним углом рта, как будто нечаянно. И тут же спрятала улыбку, но было поздно. Я её видел.

Сзади «Москвич» наконец объехал нас и, проезжая, обложил меня, её, Швецию и всю Европу. Мы откатили «Вольво» к бордюру — я толкал, она рулила, и мне было приятно, что она рулит уверенно, без визга, не оглядываясь на меня каждые две секунды.

В моторе я провозился минут двадцать. Ничего сложного: отошла клемма на аккумуляторе, а заодно засорился топливный фильтр. Клемму я затянул ключом, который всегда носил с собой — на рынке без ключа на десять как без паспорта. С фильтром сделать было ничего нельзя, но я продул то, что можно было продуть, и машина, подумав, завелась.

Всё это время она стояла рядом и курила тонкие сигареты. Мы разговаривали. О чём — я потом долго пытался вспомнить и не мог. О ерунде. О том, что платаны на Пушкинской сажали ещё при царе. О том, что в Ростове летом нечем дышать, а зимой не во что одеться. О том, что она держит ателье на Садовой и шьёт на заказ. О том, что у меня сегодня день рождения.

— Восемнадцать? — переспросила она.

— Восемнадцать.

— Господи, — сказала она и рассмеялась. По-настоящему, впервые за вечер, запрокинув голову. — Я в восемнадцать думала, что в тридцать пять жизнь заканчивается.

— А она заканчивается?

Она перестала смеяться и посмотрела на меня. Долго. Слишком долго для женщины в дорогом платье и пацана с пивом.

— Иногда кажется, что да, — сказала она тихо.

Вот это и был момент. Не тот, когда она вышла из машины. Этот. Когда взрослая, красивая, уверенная женщина вдруг сказала правду незнакомому парню на улице — потому что он слушал так, как её давно никто не слушал.

Я ничего не ответил. Иногда правильнее промолчать. Это я тоже понял лет в пятнадцать.

Она предложила деньги. Я отказался. Она настаивала. Я снова отказался — не из гордости, а потому что почувствовал: если возьму, то всё, что сейчас было, превратится в услугу. А мне не хотелось, чтобы это было услугой.

— Тогда как мне вас отблагодарить? — спросила она.

— Никак. С днём рождения меня, — сказал я. — Этого хватит.

— С днём рождения, — сказала она. Потом подумала и протянула руку. — Тамара.

— Макс.

Рука была прохладной и сухой. На безымянном пальце — кольцо с камнем, который в свете фонаря казался чёрным.

Она села в машину, опустила стекло.

— Ателье «Тамара» на Садовой, возле «Бристоля», — сказала она. — Если понадобится что-то подшить. Брюки. Пиджак. Что-нибудь.

— У меня нет пиджака.

— Значит, сошьём, — сказала она и уехала.

Я стоял на тротуаре с тёплым пивом и чувствовал себя так, будто только что выиграл в лотерею, не купив билета. Глупое чувство. Самое опасное из всех.

Гоша нашёл меня через час на лавке у фонтана. Он принёс два беляша, бутылку «Анапы» и свою вечную энергию человека, у которого в голове одновременно работают двенадцать бизнес-планов, и все провальные.

— Ты чего такой? — спросил он, вглядываясь мне в лицо. — Как будто тебя по голове стукнули. Самовар догнал?

— Я машину чинил, — сказал я.

— Какую машину?

— «Вольво». Тёмно-синюю.

Гоша перестал жевать. Беляш застыл у него на полпути ко рту.

— На Пушкинской? — уточнил он очень тихо. — Тёмно-синяя «Вольво», номер с тремя семёрками?

Номера я не запомнил. Но кивнул, потому что по Гошиному лицу уже всё понял.

— Макс, — сказал Гоша, и я впервые за всё время нашей дружбы услышал, как у него дрожит голос. — Это машина Арсена.

На рынке не было человека, который не знал бы, кто такой Арсен. Его никто никогда не видел злым. Его вообще мало кто видел. Но когда год назад сгорели три палатки, хозяева которых «не поняли, как здесь всё устроено», — все поняли, кто это устроил.

— Ну и что, — сказал я. — Я ему машину починил. Он мне спасибо должен.

— За рулём кто был?

Я помолчал.

— Жена его, — сказал Гоша, не дождавшись ответа. — Тамара. Ты чинил машину жене Арсена.

Он отложил беляш, что для Гоши было равносильно объявлению траура, и налил себе «Анапы» до краёв.

— Ну, ничего, — сказал он после паузы, бодрясь. — Починил и починил. Больше же вы не увидитесь, правильно?

Я посмотрел на свои джинсы. На левом колене была дырка — пропорол вчера о ящик.

— Правильно, — сказал я.

Это была первая ложь, которую я сказал Гоше за все годы нашей дружбы. И, как выяснилось, самая дорогая в моей жизни.

На следующий день я пошёл на Садовую подшивать брюки.

Глава 2. Ателье

У меня были одни приличные брюки. Чёрные, со стрелками, купленные на вещевом рынке у вьетнамцев за сто двадцать рублей на выпускной, на который я так и не пошёл. Выпускной был не мой — школу я бросил в девятом классе, — а одной девочки из соседнего двора, которая позвала меня в последний момент и в последний момент передумала. Брюки остались. Висели в шкафу, как напоминание о том, что я тоже могу выглядеть человеком.

Подшивать их было не нужно. Они были мне точно по длине. Я это знал, когда снимал их с вешалки. Знал, когда заворачивал в газету «Вечерний Ростов». Знал, когда в два часа дня бросил тележку на Гошу, сказав, что у меня «дела в банке», хотя в банке у меня не было даже знакомого охранника.

Я всё знал. И всё равно шёл. Это, наверное, главное, что нужно понять про меня, чтобы читать дальше.

Ателье «Тамара» оказалось в полуподвале старого дома на Садовой, рядом с гостиницей «Бристоль». Три ступеньки вниз, дверь с колокольчиком, вывеска золотыми буквами — красивая, но со сбитой «р», так что издали читалось «Тама а». Внутри пахло горячим утюгом, мелом и кофе. Вдоль стен висели платья в целлофане, как невесты, которых никто не забрал.

За столом у входа сидела старушка в очках на цепочке и строчила на машинке «Зингер», которой было, наверное, больше лет, чем всему моему району.

— Закрыто на обед, — сказала она, не поднимая головы.

— Дверь открыта, — сказал я.

— Это для своих.

— Я свой, — сказал я. — Мне Тамара обещала брюки подшить.

Старушка медленно подняла голову и посмотрела на меня поверх очков. Смотрела она долго, оценивающе, как смотрят на рынке на арбуз, прежде чем постучать.

— Тамара Георгиевна, — поправила она. — Обещала, значит.

Она повернулась к шторке в глубине комнаты и крикнула неожиданно звонко:

— Тамарочка! Тут тебе мальчик брюки принёс!

«Мальчик» прозвучало так, что я сразу понял: в этом ателье у меня есть первый враг. Звали её, как я позже узнал, Фира Марковна. Ей было семьдесят четыре года, она шила ещё для жён обкомовских начальников и видела насквозь всех мужчин, которые когда-либо переступали этот порог. Включая, как выяснилось, мужа хозяйки.

Тамара вышла из-за шторки в простом сером платье, с сантиметровой лентой на шее и булавкой в зубах. Увидела меня. Вынула булавку изо рта.

Это было быстро — меньше секунды. Но за эту секунду я увидел, что она рада. Не вежливо рада, а по-настоящему, так, что сама испугалась. А потом она надела другое лицо — спокойное, деловое, хозяйское.

— Макс, — сказала она. — Брюки.

— Брюки, — подтвердил я и протянул свёрток.

Она развернула газету, встряхнула брюки, приложила к моим ногам. Посмотрела на длину. Потом на меня.

— Они тебе по росту, — сказала она.

— Правда? — сказал я. — Вот это да. Значит, зря шёл.

Фира Марковна за машинкой громко хмыкнула. Тамара сжала губы, но в глазах у неё что-то дрогнуло, и я понял, что она изо всех сил старается не засмеяться.

— Пояс, — сказала она наконец. — Пояс тебе велик. Видишь, как собирается? Надо ушить. Пойдём, сниму мерку.

Пояс был в порядке. Мы оба это знали. Фира Марковна знала тоже — по тому, как она остановила машинку и демонстративно взялась за журнал «Работница».

За шторкой была примерочная: зеркало в рост, стул, вешалка, лампа под абажуром с кистями. Тамара задёрнула шторку не до конца — оставила щель шириной в ладонь. Я потом много думал об этой щели. О том, что она её оставила. Взрослая женщина, замужняя, хозяйка — она дала нам обоим путь к отступлению. Тогда я этого не понимал. Понял лет через пятнадцать, когда сам начал оставлять такие щели.

— Надень, — сказала она и отвернулась к зеркалу, рассматривая что-то несуществующее на своём рукаве.

Я переоделся. Брюки сидели нормально. Она обернулась, опустилась на одно колено и начала колоть булавками пояс, который не нужно было ушивать. Её пальцы двигались быстро и уверенно, по-профессиональному, ни разу не задев меня больше, чем нужно. И именно поэтому каждое касание я чувствовал, как удар током.

— Где ты живёшь? — спросила она, не поднимая головы.

— На Нахаловке.

— С родителями?

— Один.

Она подняла голову.

— В восемнадцать?

— С четырнадцати, — сказал я. И сам удивился, что сказал. Я никому этого не рассказывал. Гоша знал, потому что жил в соседнем доме, а больше никто.

Она ничего не спросила. Не сказала «бедный мальчик», не стала охать, не полезла с расспросами про мать и отца. Просто кивнула, как кивают человеку, который сообщил, что умеет водить машину. И вернулась к булавкам.

За это я был готов отдать ей что угодно. Наверное, именно в эту минуту всё и решилось.

— Ты хорошо держишься, — сказала она через какое-то время, вставая.

— В смысле?

— Ты спокойный. В твоём возрасте все суетятся. Хотят понравиться. А ты стоишь и смотришь.

— Смотреть интереснее, чем суетиться.

— И что ты видишь?

Это был вопрос-ловушка, и мы оба это понимали. Ответить «ничего» — значит соврать. Ответить честно — значит переступить черту.

Я посмотрел на неё в зеркало. Не на неё саму, а на отражение — так почему-то было легче.

— Вижу женщину, которая шьёт всем платья для праздников, — сказал я. — А сама давно не была ни на одном празднике, где ей было бы весело.

Она замерла с булавкой в руке.

В мастерской за шторкой было тихо. Даже Фира Марковна перестала шелестеть «Работницей».

— Ты слишком много себе позволяешь, — сказала Тамара. Тихо, ровно. Но не отошла.

— Наверное, — сказал я. — Извините.

— Не извиняйся, — сказала она. — Когда извиняются, значит, врали.

И тогда она посмотрела на меня. Не в зеркало, а прямо. И я увидел, что у неё мокрые глаза.

Ничего не произошло. Я хочу, чтобы вы это знали. Мы стояли за шторкой, в щель была видна спина Фиры Марковны, где-то наверху по Садовой гремел трамвай. Она смотрела на меня, а я на неё, и между нами было расстояние в полшага. И никто из нас его не прошёл.

Иногда то, чего не случилось, связывает людей крепче, чем то, что случилось.

Зазвонил телефон.

Не мобильный — мобильные тогда были у бандитов и у очень богатых людей, что часто совпадало. Звонил старый дисковый аппарат на столе в мастерской. Фира Марковна сняла трубку, послушала и сказала нарочито громко:

— Тамарочка, Арсен Ашотович.

Тамара изменилась мгновенно. Плечи выпрямились, лицо стало гладким и пустым, как отутюженная ткань. Она вышла из-за шторки и взяла трубку.

— Да, — сказала она. — Да, дорогой. Нет, всё хорошо. Нет, клиент. Подшиваю брюки. Да. В семь буду. Конечно.

Я стоял за шторкой в недошитых брюках, утыканных булавками, и слушал, как она говорит «дорогой» человеку, при упоминании которого у Гоши дрожал голос. И впервые в жизни почувствовал то, что потом чувствовал сотни раз и так и не научился любить: смесь страха, азарта и стыда. Как будто стоишь на краю крыши и знаешь, что не прыгнешь, но всё равно подходишь ближе.

— Брюки будут готовы в четверг, — сказала Тамара, когда я переоделся и вышел. Голос у неё снова был деловой.

— Сколько с меня?

— Нисколько. Ты чинил мне машину.

— Я ничего не просил за машину.

— Поэтому и нисколько, — сказала она. Потом помедлила и добавила, глядя куда-то мимо меня: — А пиджак сошьём. Я говорила.

— У меня нет денег на пиджак, Тамара.

— Георгиевна, — подала голос Фира Марковна.

— Тамара Георгиевна, — поправился я.

— Тамара, — сказала Тамара, глядя на Фиру Марковну так, что та снова уткнулась в журнал. — Ткань у меня есть. Осталась от одного заказа. Мужчина умер, не успел забрать. Хорошая шерсть, итальянская.

— Пиджак от мертвеца, — сказал я. — Шикарный подарок.

И она засмеялась. Как вчера на Пушкинской — запрокинув голову, по-настоящему. Фира Марковна покачала головой с видом человека, который всё это уже видел и знает, чем кончится.

— В четверг, — сказала Тамара. — После шести. Будем снимать мерку на пиджак.

Когда я вышел на Садовую, солнце било прямо в глаза. Я постоял у двери, привыкая к свету, и услышал, как за спиной звякнул колокольчик. На ступеньках стояла Фира Марковна с сигаретой «Беломор».

— Мальчик, — сказала она, прикуривая. — Можно я тебе скажу одну вещь? Бесплатно.

— Говорите.

— Я в этом подвале сорок лет. Через эту дверь прошло столько мужчин, сколько ты, дай бог, за всю жизнь не увидишь. И я тебе скажу: таких, как ты, я видела.

— Каких?

— Которые на всё смотрят и всё понимают, — сказала она, выпуская дым. — Они самые опасные. Не для себя. Для женщин. Потому что женщина думает: вот, наконец, он меня видит. А он видит всех. И никого не любит.

Она докурила в три затяжки, бросила окурок в урну и, уже открывая дверь, добавила:

— И ещё. Арсен Ашотович тоже на всё смотрит.

Колокольчик звякнул. Дверь закрылась.

Я пошёл на рынок пешком через весь центр. Шёл и думал, что старуха права. Что надо забыть про брюки, про пиджак, про четверг. Что Гоша прав, и Фира Марковна права, и вообще все вокруг правы, кроме меня.

К тому времени, как я дошёл до рынка, я твёрдо решил: в четверг не пойду.

В четверг в шесть ноль пять я стоял у двери с колокольчиком.

Глава 3. «Шанель от Бублика»

В четверг ничего не случилось. Точнее, случилась Фира Марковна.

Она не ушла домой ни в шесть, ни в семь, ни в половине восьмого. Сидела за своим «Зингером» и шила что-то бесконечное — то ли занавеску, то ли парус для небольшого фрегата. Каждые десять минут громко сообщала, что у неё «срочный заказ», и смотрела на нас поверх очков с видом таможенника, который ещё не нашёл контрабанду, но уже знает, в каком она чемодане.

Тамара сняла с меня мерку на пиджак. Сорок минут, сантиметровая лента, блокнот, цифры. Плечи, спина, рукав, обхват груди. Всё строго, как в поликлинике. Ни одного лишнего слова. Ни одного лишнего касания. Шторка была открыта настежь.

Когда я уходил, она отдала мне брюки, аккуратно сложенные и завёрнутые в фирменную бумагу ателье.

— Пиджак будет через две недели, — сказала она. — Примерка в субботу. Если ничего не помешает.

— А что может помешать?

— Погода, — сказала она и посмотрела на Фиру Марковну. — В субботу обещали грозу.

Фира Марковна громко чихнула. Я до сих пор уверен, что специально.

Если вы думаете, что дальше будет про субботу, вы плохо знаете Гошу Бублика. До субботы ещё надо было дожить. А в пятницу Гоша решил продать сорок ящиков «CHANNEL № 5».

Про Гошу нужно сказать вот что. Он не был дураком. Дурак — это человек, который не понимает, что делает. Гоша прекрасно понимал. Просто в его голове между идеей и её последствиями не было никакой связи, как будто кто-то перерезал провод. Купить сорок ящиков духов у человека по кличке Химик в гаражах за Северным? Отличная идея. Продать их на Центральном рынке под видом французских? Гениальная. Что может пойти не так?

К десяти утра у Гоши был лоток в галантерейном ряду, плакат «ПАРИЖ — ДЁШЕВО!» и очередь из женщин. Очередь, надо признать, была впечатляющая. Девяносто девятый год, зарплату платят через раз, а тут настоящий «Шанель» за сорок рублей. Брали по три флакона: себе, маме и свекрови, чтобы заткнулась.

Я смотрел на это со своей тележки и чувствовал, как у меня холодеет спина. Я понюхал этот «Шанель» на свой день рождения. Я знал, чем он пахнет.

— Гоша, — сказал я, подойдя к лотку. — Сворачивайся.

— Ты с ума сошёл? — прошептал Гоша, не переставая улыбаться покупательнице. — Я уже восемь ящиков продал! Ещё два часа — и я в шоколаде. Девушка, вам два? Для вас — по тридцать пять!

— Ты не понимаешь. Это не духи. Это…

Я не успел договорить. По рядам прокатился первый крик.

Кричала тётя Галя из рыбного ряда. Тётя Галя весила около ста двадцати килограммов, торговала таранью двадцать лет и не боялась ничего, включая налоговую и собственного мужа. Сейчас она стояла посреди прохода и смотрела на свои запястья, которые на глазах наливались ярко-малиновым цветом.

— Это что?! — кричала тётя Галя. — Это что такое, я вас спрашиваю?!

За ней подала голос продавщица из овощного. Потом молодая мамаша с коляской. Потом целая делегация из обувного ряда. У всех было одно и то же: красные пятна там, куда они щедро, по-рыночному, плеснули французского аромата. У продавщицы из овощного пятно

было на шее, у тёти Гали — на запястьях, а у одной девушки, которая решила не мелочиться, — на всём лице.

В галантерейном ряду наступила тишина. Такая, какая бывает на море перед большой волной.

Потом очередь медленно повернулась к Гоше.

— Макс, — сказал Гоша, не двигая губами. — Что делать?

— Молчи, — сказал я. — Что бы я ни говорил, кивай.

Я влез на ящик с духами. Это важно: когда на тебя идёт толпа, надо быть выше толпы. Хотя бы на тридцать сантиметров. Этому меня никто не учил, это я понял сам, лет в пятнадцать, когда на меня шли трое пацанов с Батайска.

— Женщины! — сказал я громко. — Тихо! Покажите руки!

От неожиданности они показали.

Я спрыгнул, взял тётю Галю за запястье — бережно, как врач, — и внимательно посмотрел на пятно. Покачал головой. Посмотрел на другое запястье. Цокнул языком.

— Так я и думал, — сказал я. — Тётя Галя, у вас аллергия на натуральный жасмин. Это бывает у одного человека из тысячи.

— Какой жасмин? — растерялась тётя Галя.

— Французский. Настоящий. Он в этих духах натуральный, не химия, как в турецких. Поэтому они и пахнут резко. А у кого кожа чувствительная, у тех вот такая реакция. Гоша, я же тебе говорил: пиши на плакате, что для чувствительной кожи не подходит!

Гоша кивал. Гоша кивал так, что я боялся, у него отвалится голова.

— А у неё тоже на жасмин? — спросила мамаша с коляской, показывая на девушку с красным лицом.

— У неё, — сказал я, мельком глянув на девушку, — на бергамот. Тоже натуральный. Это значит — духи настоящие. Подделка такую реакцию не даёт. Подделка вообще ничем не пахнет, кроме спирта.

Логика была чудовищная. Но на рынке побеждает не логика, а уверенность. Я видел, как толпа заколебалась. Как злость в глазах у женщин сменилась сомнением, а потом даже чем-то вроде гордости: у них аллергия на настоящий французский жасмин! Не у каждой такое бывает!

Я почти победил. Ещё минута — и они бы разошлись по рядам, рассказывая соседкам про свою аристократическую кожу.

И тут из-за угла вышли двое в штатском.

ОБЭП на Центральном рынке в девяносто девятом году появлялся примерно так же, как гроза: все знали, что рано или поздно будет, но всегда неожиданно. Двое — один пожилой, усталый, с портфелем, второй молодой, с лицом человека, который хочет звёздочку на погон, — шли прямо к Гошиному лотку. Кто-то уже успел им позвонить. На рынке всегда кто-то успевает позвонить.

— Чей товар? — спросил молодой.

Гоша посмотрел на меня. Я посмотрел на ящики. Ящики посмотрели на всех нас.

И тут я сделал вещь, которой горжусь до сих пор.

— Какой товар? — удивился я. — Это не товар. Это гуманитарная помощь.

Пожилой медленно поднял на меня глаза.

— Чего?

— Средство от комаров, — сказал я. — Для рыбаков с Левого берега. Видите, на плакате написано «ПАРИЖ — ДЁШЕВО»? Это Гоша неправильно написал. Должно быть «ПАРИЖ — ДЛЯ ДОНА». Акция такая, от французского посольства. Комары от этого запаха дохнут на лету. Проверено.

Молодой открыл флакон и понюхал. Лицо у него стало сложным.

— Вообще-то, — медленно сказал он, — комары правда сдохнут.

Пожилой посмотрел на молодого. Потом на меня. Потом на тётю Галю с малиновыми запястьями, на девушку с бергамотовым лицом, на сорок ящиков и на плакат. Я видел, как он устал. Как ему пятьдесят три года, у него больная спина, до пенсии два года, а в пятницу после обеда хочется только одного — домой, на дачу, к помидорам. И как он прикидывает, сколько бумаг придётся писать, если всё это оформлять.

Чего он хотел? Покоя. Чего боялся? Работы. Чего ему не хватало? Простого способа уйти, не потеряв лица.

— Товарищ капитан, — сказал я тихо, только для него. — Мы сейчас всё уберём. Сами. И никто ничего не продаёт. Акция закончилась. А вам, если позволите, — ящик для дачи. Комары там, говорят, звери.

Пожилой смотрел на меня очень долго. Потом вздохнул.

— Чтоб через пятнадцать минут вас тут не было, — сказал он. — Ящик донесёшь до машины.

Мы уложились в двенадцать минут. Тридцать один ящик «гуманитарной помощи» мы спрятали в подсобке у Ашота, который смеялся так, что у него слетела кепка. Тёте Гале Гоша вернул деньги и подарил вяленого леща из её же собственного ряда, купленного по полной цене. Девушке с бергамотовым лицом я дал телефон знакомой медсестры в травмпункте.

Вечером мы сидели с Гошей на крыше гаража за его домом и пили «Анапу» из горлышка. Гоша был тихий и задумчивый, что с ним случалось раз в полгода.

— Макс, — сказал он. — Как ты это делаешь?

— Что?

— Ну… Это. С людьми. Ты же им просто наврал. Всем. И тётке, и ментам. А они поверили.

Я подумал.

— Я им не врал, — сказал я наконец. — Я им давал то, чего они хотели. Тётя Галя хотела быть особенной. Капитан хотел домой. Я просто показал им дорогу.

Гоша долго молчал. Над нами горели огни Ростова, где-то далеко за Доном лаяли собаки.

— Страшный ты человек, Макс, — сказал он. — Я бы с тобой в разведку не пошёл.

— Ты со мной в разведку и не пойдёшь. Ты бы взял с собой сорок ящиков духов.

Гоша засмеялся, и стало легче.

Потом я пошёл домой. Повесил новые брюки в шкаф. Сунул руку в карман, чтобы выложить ключи, и нащупал там бумажку. Маленький листок из блокнота ателье, сложенный вчетверо.

На нём ровным почерком, синими чернилами было написано всего два слова:

«Суббота. Восемь».

А ниже, мельче, как будто приписала в последний момент:

«Фира уезжает на дачу».

Глава 4. Гроза

Грозу обещали с утра, но она тянула весь день, как плохой должник. Над Ростовом висело тяжёлое жёлтое небо, воздух был такой густой, что его можно было резать ножом и мазать на хлеб. Торговки на рынке обмахивались картонками, собаки лежали в тени, не шевелясь, и даже Гоша говорил вполголоса.

Я ушёл с рынка в шесть. Принял душ — у меня в квартире на Нахаловке душ работал через раз, и в тот день, как назло, работал. Надел новые брюки. Посмотрел на себя в зеркало, висевшее на гвозде в прихожей, и не узнал. Из зеркала на меня смотрел незнакомый парень, который собирался сделать глупость и знал это.

— Ты ещё можешь не ходить, — сказал я ему.

Он пожал плечами. Он был упрямее меня.

В восемь часов на Садовой не было ни души. Ветер гнал по асфальту пыль и обрывки газет, платаны шумели так, будто перешёптывались о чём-то неприличном. Первые капли упали, когда я спускался по трём ступенькам. Крупные, тяжёлые, тёплые, как слёзы.

Колокольчик звякнул. В ателье горела одна лампа — та, под абажуром с кистями, за шторкой. Пахло кофе и чем-то сладким, может быть, её духами. Настоящими, не Гошиными.

Тамара стояла у окна, под самым потолком полуподвала, и смотрела, как по стеклу бегут ноги прохожих, которых не было. На ней было тёмно-зелёное платье. Я не разбирался в платьях, но понял, что это платье не для работы.

— Ты пришёл, — сказала она, не оборачиваясь.

— Вы написали.

— Я могла не написать.

— Могли.

Она обернулась.

— Я двое суток думала, как скажу тебе, что ты не должен был приходить. Придумала очень хорошую речь. Строгую. Ты бы ушёл и больше никогда не вернулся.

— И что случилось с речью?

— Ты пришёл, — сказала она. — И я её забыла.

Пиджак действительно был. Это меня почему-то поразило. Я был уверен, что пиджак — это просто предлог, как подшивка брюк. А он висел на манекене: серый, в тонкую ёлочку, итальянская шерсть умершего человека. Ещё без рукавов, сшитый на живую нитку, с белыми стежками наметки.

— Надень, — сказала она.

Я надел. Она обошла меня кругом, поправила плечо, провела ладонью по спине, разглаживая ткань. Я стоял неподвижно и смотрел в зеркало на нас двоих. Парень в недошитом пиджаке и женщина в зелёном платье. Если бы кто-то увидел эту картинку, решил бы, что мать собирает сына на выпускной.

Но никто не видел. Фира Марковна уехала на дачу.

И в этот момент ударил гром.

Не где-то вдалеке, а прямо над нами, так, что задрожали стёкла и с полки упала коробка с пуговицами. Пуговицы раскатились по полу, как горох. Лампа мигнула раз, другой — и погасла. Во всём доме. Во всей Садовой, наверное.

Стало темно. Совсем как в погребе. Только сквозь окно под потолком мигали синие вспышки молний, и в каждой вспышке я видел её лицо — на секунду, как фотографию.

Вспышка. Она смотрит на меня.

Темнота.

Вспышка. Она ближе.

Темнота.

— Макс, — сказала она в темноте очень тихо. — Скажи мне, что это плохая идея.

Я мог сказать. Я хотел сказать. В голове звучал дрожащий голос Гоши и прокуренный голос Фиры Марковны. Я знал, кто её муж. Я знал, что такое сгоревшие палатки. Я знал всё.

— Это очень плохая идея, — сказал я.

— Хорошо, — сказала она. — Спасибо.

И поцеловала меня.

Я не буду рассказывать, что было дальше. Не потому, что стесняюсь, — мне сорок пять лет, и я давно перестал стесняться чего бы то ни было. А потому, что есть вещи, которые принадлежат только двум людям. Даже если один из них давно в прошлом, а второй — я.

Скажу только, что гроза шла всю ночь. Что дождь заливал в окна полуподвала и мы подставили под протечку тазик для замачивания тканей. Что пиджак с белыми стежками упал с меня куда-то на пол и Тамара потом смеялась, что придётся перешивать спину. Что она плакала один раз, коротко, отвернувшись к стене, и я не спрашивал почему. Что в какой-то момент она уснула, положив голову мне на плечо, а я лежал без сна на старом диване в углу мастерской и смотрел, как по потолку бегут отсветы молний.

И думал, что никогда в жизни мне не было так хорошо и так страшно одновременно.

Потом я узнаю, что так бывает почти всегда. Что хорошо и страшно — это не две разные вещи, а одна. Но тогда я думал, что это только со мной и только в эту ночь.

Свет дали в пять утра. Лампа под абажуром вспыхнула внезапно, и мы оба зажмурились, как застигнутые воры.

Тамара встала первой. Быстро, бесшумно оделась. Собрала волосы. Подобрала с пола пуговицы — все до одной, ползая на коленях, — и сложила их обратно в коробку. Повесила пиджак на манекен. Вытерла лужу под окном. Через десять минут мастерская выглядела так, будто в ней ничего не было. Кроме меня.

Она села на стул напротив дивана. Посмотрела на меня. Лицо у неё было спокойное, гладкое, отутюженное — то самое лицо, которое я видел, когда она говорила по телефону с мужем.

— Макс, — сказала она. — Этого не было.

Я мог бы спорить. Мог бы сказать что-нибудь красивое — я уже тогда умел говорить красивые вещи. Мог бы обидеться. Но я посмотрел на неё внимательно, как смотрел на всех. И увидел, что ей сейчас страшнее, чем мне. Что «этого не было» — это не мне. Это себе.

— Конечно, — сказал я.

Она выдохнула. Плечи опустились. Что-то в лице дрогнуло и снова стало живым.

— Спасибо, — сказала она.

Я оделся и пошёл к двери. На пороге она меня окликнула:

— Примерка через неделю. Рукава.

Я обернулся. Она стояла у манекена, положив руку на плечо серого пиджака, и смотрела на меня так, что мне захотелось вернуться.

— Через неделю, — сказал я.

На улице было свежо и мокро. Платаны капали, по Садовой текли ручьи, в них плавали ветки и сорванные листья. Ростов был умытый, чистый и пустой, как город после конца света.

Я шёл посередине улицы, потому что машин не было, и вдруг понял, что улыбаюсь. Широко, по-дурацки, как в детстве на Новый год. Восемнадцать лет, пятьдесят рублей в кар-

мане, квартира без горячей воды, бывший заключённый отец и мать, которая не позвонила ни разу за шесть лет. И я был самым счастливым человеком в городе.

На углу Будённовского меня обогнала тёмно-синяя «Вольво».

Я остановился. Сердце упало куда-то в мокрые кроссовки. Машина проехала мимо, не сбавляя скорости, и я разглядел номер. Три семёрки.

За рулём сидел незнакомый мужчина в тёмных очках. В шесть утра. В пасмурный день.

Он на меня не посмотрел. Или посмотрел — через очки не было видно.

«Вольво» свернула на Садовую. Туда, откуда я только что пришёл.

Глава 5. Когда муж в командировке

Три дня я ждал, что меня убьют.

Это не фигура речи. Я действительно ждал. Ходил на рынок, катал тележку, торговался, шутил с Ашотом, а сам каждую секунду прислушивался к звуку моторов. Каждая тёмная машина казалась синей «Вольво». Каждый мужчина в тёмных очках — тем, из шести утра. Ночью я спал в одежде и положил под подушку монтировку, хотя понимал, что от тех, кто сжигает палатки, монтировкой не отобьёшься.

На четвёртый день ко мне подошла Фира Марковна. Прямо на рынке, в овощном ряду, с авоськой, полной синеньких.

— Рафик, — сказала она, не здороваясь.

— Что?

— Человек в «Вольво». Рафик. Шофёр Арсена Ашотовича. В субботу утром отвозил Тамару в аэропорт — встречать её двоюродную сестру Сусанну из Пятигорска. Перестань трястись, мальчик, на тебя смотреть страшно.

— А он… — начал я.

— Рафик всю жизнь возит. Глаза у него есть, а языка нет, — сказала Фира Марковна. — Арсен Ашотович в Москве. До конца октября. Дела.

Она выбрала на моём лотке самый большой баклажан, внимательно его осмотрела и положила обратно.

— Мне всё это не нравится, — сказала она. — Чтоб ты знал. Но Тамарочку я двадцать лет знаю. И двадцать лет не видела, чтобы она пела за работой. А в понедельник пела. «Арлекино». Фальшиво, но пела.

И ушла, не купив ничего.

Так начались два месяца, которые я потом много лет вспоминал как самое безумное время в своей жизни. Хотя потом были времена куда безумнее.

Арсен был в Москве. Об этом знал весь рынок. На рынке вообще все всё знали, это была лучшая разведка в мире. Когда Арсен уезжал, торговцы расслаблялись, ссорились громче и платили позже. Город выдыхал.

И мы с Тамарой выдыхали вместе с ним.

Встречаться в ателье было нельзя — днём там клиенты, вечером Фира Марковна, которая, хоть и пела теперь дифирамбы «Арлекино», всё равно смотрела на меня как на таракана в борще. Ко мне на Нахаловку — тем более: соседи, бабки на лавках, участковый, который знал меня с четырнадцати. Квартира Тамары и Арсена на Ворошиловском, в доме с консьержем и видеокамерой, вообще не обсуждалась.

Поэтому мы придумали систему. Точнее, придумала она. У неё был ум, который в другой жизни сделал бы её начальником разведки или главой корпорации. А в этой — хозяйкой ателье в полуподвале и женой человека, которого боялся весь город.

Система была такая.

Во-первых, пейджер. Тамара купила мне «Моторолу» — маленькую чёрную коробочку, которая пищала на поясе. В девяносто девятом пейджер на рынке был как сейчас золотые часы. Ашот, увидев его, присвистнул и спросил, не начал ли я торговать чем-то, о чём он не знает. Гоша три дня просил «позвонить по нему».

Сообщения приходили короткие. «Встреча с клиентом 19:00». Это значило — гостиница «Левобережная», номер на втором этаже, который Тамара снимала на имя какой-то своей двоюродной сестры. «Примерка отменяется». Это значило — нельзя, рядом кто-то есть. «Ткань

пришла». Это значило — она скучает. Последнее я понял не сразу и потом долго краснел, вспоминая, как отвечал на него с телефона-автомата: «Хорошо, заберу в пятницу».

Во-вторых, карманы. Тамара шила мне вещи. Брюки, рубашки, потом пиджак — уже с рукавами. Я забирал их в ателье при Фире Марковне, официально, с квитанцией. А дома находил в карманах записки. В нагрудном кармане рубашки — «Ты смешно морщишь нос, когда врёшь». В заднем кармане брюк — «Позвони в четверг в десять из автомата у почты». Во внутреннем кармане пиджака — стихотворение Ахматовой, переписанное от руки, которое я тогда не понял и понял только через двадцать лет.

В-третьих, телефоны-автоматы. У меня не было телефона дома. У неё был, но она боялась, что его слушают. Поэтому мы звонили друг другу из автоматов в разных концах города, в условленное время, по жетонам, которые я покупал пачками. Однажды у меня кончились жетоны на середине фразы. Она не перезвонила — не могла. Я не спал всю ночь, представляя, что она подумала. А утром на пейджер пришло: «Ткань пришла. Много ткани».

Система работала шесть недель без единого сбоя. На седьмой она чуть не убила нас обоих.

Это был четверг, середина октября. Пейджер сказал: «Встреча с клиентом 19:00». Я приехал в «Левобережную» на маршрутке, поднялся на второй этаж, открыл дверь ключом, который Тамара оставляла мне под ковриком. Она уже была там. Сидела на подоконнике в моём свитере — она говорила, что он пахнет рынком и яблоками, и это её любимый запах. За окном садилось солнце над Доном.

Мы пробыли вместе час. Может, полтора. А потом в коридоре раздались голоса.

Женский, громкий, с армянским акцентом, раскатистый, как гром:

— Какой номер, я вас спрашиваю? Моя двоюродная сестра здесь живёт! Я её две недели ищу!

И мужской, испуганный, — дежурного администратора:

— Женщина, я не имею права…

— Я тебе не женщина, я Анаит Ашотовна! Мой брат — Арсен Ашотович! Ты знаешь, кто мой брат?

Тамара побелела так, что стала одного цвета с занавеской.

— Анаит, — прошептала она. — Сестра Арсена. Из Еревана. Она же только в следующем месяце должна была…

— Почему она ищет тебя здесь?

— Не меня! — Тамара схватила меня за руку. — Номер записан на мою двоюродную сестру. На Сусанну. Сусанна — её тоже двоюродная сестра! Она приехала раньше и решила сделать сюрприз!

В дверь постучали. Громко. Требовательно. Так стучат только армянские родственники и налоговая.

— Сусанночка! — раздалось из-за двери. — Открывай, это я, Анаит! Я тебе долму привезла!

Дальше было то, что потом стало моим первым настоящим уроком: как исчезать из комнаты за сорок секунд.

Тамара — одним движением — сдёрнула с себя мой свитер и бросила мне. Я — одним движением — сгрёб свою одежду с кресла. Шкаф. Старый, гостиничный, фанерный, с зеркалом на дверце. Я влез в него. Там пахло нафталином и чужими духами. Дверца не закрывалась до конца — оставалась щель в палец.

Через щель я видел, как Тамара набросила халат, растрепала волосы, сделала сонное лицо и открыла дверь.

— Анаит-джан? — сказала она голосом человека, которого разбудили. — Ты откуда?

В комнату вкатилась Анаит. Тогда я увидел её впервые. Тридцать восемь лет, полная, красивая, в ярко-красном пальто, с огромной кастрюлей в руках, обмотанной полотенцем. Она поставила кастрюлю на стол, развернулась к Тамаре и замерла.

— Тамара? — сказала она. — А где Сусанна?

— Сусанна… уехала, — сказала Тамара. — Вчера. В Пятигорск. А я… я тут… Номер оплачен до конца месяца, я решила… отдохнуть. От ателье. От всего.

Анаит смотрела на неё. Потом на смятую постель. Потом на два бокала на тумбочке. Потом — медленно — на шкаф.

Я не дышал. Я смотрел на неё через щель и видел, как в её чёрных глазах работает мысль. Быстро, по-женски, без ошибок.

— Отдохнуть, — повторила Анаит.

— Отдохнуть, — сказала Тамара.

Анаит подошла к шкафу. Остановилась в шаге от дверцы. Я видел её лицо в двадцати сантиметрах от своего. Она смотрела прямо в щель. Прямо мне в глаз.

Потом повернулась к Тамаре и сказала совершенно спокойно:

— Арсен — мой брат. Я его люблю. Но я двенадцать лет вдова, Тамара. Я знаю, что такое, когда некому сказать доброе слово. Мой муж, светлая ему память, был святой человек. Твой муж — не святой.

Она взяла со стола кастрюлю.

— Долму я Сусанне везла, — сказала Анаит. — Раз Сусанны нет, оставлю тебе. Тебе и… отдыху твоему. Отдыху надо хорошо кушать.

Она поставила кастрюлю обратно. Пошла к двери. У двери обернулась.

— Я ничего не видела, — сказала Анаит. — Но если брат спросит — я плохо вру. Так что пусть отдых будет осторожнее.

Дверь закрылась.

Я вылез из шкафа. Мы стояли с Тамарой посреди номера и смотрели на кастрюлю с долмой.

А потом Тамара начала смеяться. Беззвучно, судорожно, держась за спинку кресла. А потом засмеялся я. Мы смеялись до слёз, до икоты, сидя на полу между кроватью и шкафом, и ели холодную долму руками прямо из кастрюли.

Это была лучшая долма в моей жизни. Анаит потом много раз её готовила — на свадьбах, на днях рождения, на поминках. Но так вкусно больше не было никогда.

Так я узнал, что у Арсена есть сестра, которая всё видит и молчит. Через месяц она увидит Гошу на дне рождения. И будет молчать ещё лучше.

Я хочу рассказать про это честно. Не так, как рассказывают мужики за пивом, — с подмигиванием и гордостью. А как было.

А было так: я впервые почувствовал, что могу.

Не в постели — хотя и там тоже, но это не главное. Я почувствовал, что взрослая, умная, красивая женщина, у которой есть деньги, муж, положение и страх, — что эта женщина каждый день рискует всем, чтобы провести со мной два часа в дешёвом номере с продавленной кроватью и видом на Дон. Ради меня. Ради пацана с рынка, у которого из имущества — тележка и монтировка.

Это кружило голову сильнее любой водки. Я ходил по рынку, как король. Торговался жёстче. Шутил смешнее. Девчонки из обувного ряда, которые раньше меня не замечали, вдруг начали замечать. Что-то во мне изменилось, и они это чувствовали, как собаки чувствуют грозу.

И одновременно мне было страшно. Не только от Арсена. Страшнее было другое. Однажды в «Левобережной» Тамара сказала, глядя в потолок:

— Я никогда не думала, что смогу так. Что я вообще живая.

И я почувствовал, как внутри у меня что-то сжалось. Не от нежности. От паники. Как будто на меня повесили что-то тяжёлое и хрупкое, что нельзя уронить, а руки уже устают.

Я встал, подошёл к окну и закурил. Она смотрела мне в спину. Я чувствовал её взгляд и не оборачивался.

— Ты чего? — спросила она.

— Ничего, — сказал я. — Дон красивый.

Это была неправда. Дон в тот вечер был серый и злой, по нему шла баржа с углём. Но это было первое «ничего», которое я сказал женщине вместо правды. Потом их будут сотни.

Гоша, конечно, всё понял. Гоша был катастрофой в бизнесе, но в людях разбирался хорошо — особенно в тех, кого любил.

— Ты с ней, — сказал он однажды вечером на крыше гаража. Не спросил. Сказал.

Я промолчал.

— Макс, — сказал Гоша. — Я тебя прошу. Как друга. Как брата. Закончи это, пока он в Москве.

— Почему?

— Потому что когда он вернётся, будет поздно.

Я посмотрел на Гошу. На его круглое честное лицо, на котором сейчас был настоящий страх — не за себя, за меня. И мне стало стыдно. И я разозлился, потому что мне было стыдно.

— Ты за себя бойся, — сказал я. — У тебя ещё тридцать ящиков «Шанели» в подсобке у Ашота.

Гоша обиделся и ушёл. Мы не разговаривали три дня — рекорд за всё время нашей дружбы. Потом он пришёл ко мне на рынок с двумя беляшами и сказал, что придумал, куда деть «Шанель»: продать в Шахты как средство от тараканов. Я сказал, что это гениально. Мы помирились.

Но он был прав. Он почти всегда был прав, мой нелепый друг Гоша. Я понял это слишком поздно. Почти во всём я понимал всё слишком поздно.

В последний день октября на пейджер пришло сообщение. Не «встреча с клиентом», не «ткань пришла». Просто три слова, без кода:

«Он вернулся завтра».

Я стоял посреди фруктового ряда, держа в руке пейджер, и перечитывал. «Вернулся завтра». Грамматически неверно. Тамара никогда не делала ошибок. Значит, писала второпях. Значит, писала, когда рядом кто-то был.

Я поднял голову. Рынок шумел, как всегда: торговались, ругались, смеялись. Тётя Галя с уже зажившими запястьями махала мне из рыбного ряда. Ашот грыз семечки. Всё было как обычно.

Кроме одного. Двое парней в кожаных куртках, которых я раньше здесь не видел, стояли у входа в мясной павильон и медленно оглядывали ряды. Как будто кого-то искали.

Глава 6. Арсен

Парни в кожаных куртках искали не меня. Это я понял через полчаса, когда они подошли к лотку дяди Миши-молдаванина в винном ряду и очень вежливо, почти ласково, поговорили с ним минуты три. Дядя Миша после разговора сел на ящик и долго сидел, глядя в одну точку. А парни пошли дальше по рядам, неторопливо, как санитары по палате.

Вечером на рынке говорили только об этом. Арсен вернулся. Арсен навёл порядок. Дядя Миша задолжал за три месяца — теперь отдаст за шесть. Ашот рассказывал это, понизив голос, а потом сплюнул через левое плечо.

— Хороший человек, — сказал Ашот про Арсена. — Справедливый. Дай бог ему здоровья. Подальше от нас.

Самого Арсена я увидел на следующий день.

Я ожидал чего угодно. Шкафа с золотой цепью. Пиджака малинового цвета. Шрама через всё лицо. Ростов девяностых знал много таких, и все они были похожи друг на друга, как бутылки «Анапы».

Арсен был другой.

Невысокий, сухой, лет сорока пяти. Седые виски, аккуратная бородка, очки в тонкой оправе. Тёмный шерстяной костюм без галстука. Он был похож на преподавателя консерватории или главного врача хорошей больницы. Шёл по рынку медленно, держа руки за спиной, и останавливался у лотков, как будто выбирал фрукты. Здоровался с торговцами по имени. Спросил у тёти Гали, как здоровье мужа. Купил у Ашота кулёк черешни и заплатил втрое больше.

За ним в трёх шагах шли вчерашние парни в кожанках. И Рафик — тот самый, в тёмных очках.

Арсен остановился у винного ряда. Дядя Миша вскочил с ящика, как школьник. Арсен положил ему руку на плечо и тихо сказал что-то. Дядя Миша закивал. Арсен улыбнулся, похлопал его по плечу, взял из кулька черешню, съел, выплюнул косточку в ладонь и положил её на прилавок перед дядей Мишей. Аккуратно. Как подарок.

Дядя Миша смотрел на эту косточку так, будто это была граната.

Я видел много страшных вещей на рынке. Драки с ножами. Как увозили людей в багажниках. Но ничего страшнее этой вишнёвой косточки на прилавке я не видел ни до, ни после.

Я хотел уйти. Честно. Бросить тележку, уйти в подсобку, переждать. Но Арсен уже повернулся и шёл по фруктовому ряду прямо ко мне.

И я сделал то, что умел лучше всего. Посмотрел на него.

Три секунды.

Чего хотел этот человек? Он хотел, чтобы его боялись, — нет. Это было неправдой. Его и так боялись, и он от этого устал, как устают от слишком громкой музыки. Он хотел, чтобы кто-то его не боялся. Чтобы кто-то разговаривал с ним просто так.

Чего он боялся? Предательства. Это было видно по тому, как он держал руки за спиной — всегда, даже когда покупал черешню. Как будто проверял, что никто не зайдёт сзади.

Чего ему не хватало?

Вот тут я споткнулся. Потому что увидел то, чего не ожидал. Он смотрел на парня из обувного ряда, который помогал отцу разгружать коробки. Просто смотрел — секунду, может две. Но в этом взгляде было то, что я знал очень хорошо. Я сам так смотрел на чужих отцов, когда был маленьким.

У Арсена не было детей. Я это понял за три секунды, и это знание потом изменило всё.

— Ты Макс, — сказал Арсен, остановившись у моей тележки.

Не спросил. Сказал. Как Гоша тогда на крыше.

— Я, — сказал я.

— Рафик говорит, ты мне машину починил. В августе. Жене помог.

— Клемма отошла. Ерунда.

— Ерунда, — повторил Арсен, внимательно меня разглядывая. — Денег не взял. Почему?

Это был вопрос, на который нельзя было ответить неправильно. Скажу «из уважения» — он поймёт, что я подлизываюсь. Скажу «не люблю брать за ерунду» — подумает, что я вру. Скажу правду — что не хотел, чтобы это было услугой, потому что мне понравилась его жена, — меня найдут в Дону.

— День рождения у меня был, — сказал я. — Восемнадцать. Решил, что в день рождения денег не беру. Примета такая.

— Чья примета?

— Моя. Сам придумал. В тот же день.

Арсен помолчал. А потом засмеялся. Негромко, сухо, но по-настоящему. Парни в кожанках переглянулись — видимо, это было редкое зрелище.

— Сам придумал, — сказал Арсен. — Нравишься ты мне, пацан. Ты не боишься.

— Боюсь, — сказал я. — Просто я вежливый.

Он засмеялся снова, громче. Протянул мне кулёк с черешней.

— Угощайся.

Я взял одну. Съел. Косточку не выплюнул — проглотил. Арсен это заметил. Я видел, что заметил.

— Слушай сюда, — сказал Арсен, перестав смеяться. — «Вольво» эта у меня третий год. Хорошая машина, умная, шведская. Но умные машины, как умные женщины, — капризные. В сервисе на Шолохова её чинят — она ломается через неделю. Мне Рафик говорит, ты на улице за двадцать минут сделал то, что они за неделю не могут. Будешь смотреть машину?

— Я не механик. Я на рынке работаю.

— Будешь смотреть машину, — повторил Арсен, и это был уже не вопрос. — Раз в неделю. Рафик заедет, отвезёт тебя в гараж. Заплачу хорошо. Больше, чем ты тут за месяц имеешь.

Я понимал, что надо отказаться. Что каждый раз, открывая капот этой машины, я буду открывать её как улику. Что Рафик, у которого «глаза есть, а языка нет», будет стоять рядом. Что Тамара…

Я понимал всё. И видел, что Арсен смотрит на меня. Внимательно. Так же, как я смотрю на людей. Три секунды.

И я вдруг понял, что он видит меня насквозь. Не то, что я с его женой, — нет, этого он не видел, иначе я бы уже не стоял. Он видел другое. Что я такой же, как он. Что я тоже читаю людей. И это ему нравилось. Это его забавляло, как забавляет взрослого игрока щенок, который пытается играть в шахматы.

— Хорошо, — сказал я.

— Хорошо, — сказал Арсен. Достал из внутреннего кармана визитку — белую, с тиснением, на ней было только имя и телефон. Положил её на мою тележку, как косточку на прилавок дяди Миши.

— Я людей сразу вижу, Макс, — сказал он. — Ты — свой.

И пошёл дальше по ряду, держа руки за спиной.

Когда он скрылся за углом мясного павильона, ко мне подлетел Гоша. Он был белый, как лист бумаги. Он всё видел из галантерейного ряда.

— Чего он хотел? — прошептал Гоша.

— Чтобы я ему машину чинил.

— Какую машину?

— Ту самую.

Гоша сел прямо на ящик с моими помидорами. Помидоры хрустнули. Гоша этого не заметил.

— Макс, — сказал он. — Ты понимаешь, что ты теперь будешь каждую неделю ездить к человеку, с женой которого ты…

— Понимаю.

— И что ты будешь делать?

Я посмотрел на визитку. Белая, плотная, дорогая. Имя без фамилии. Телефон.

В кармане пискнул пейджер. Я достал его. На экране светилось одно слово:

«Отмена».

Не «примерка отменяется». Не «ткань пришла». Просто «отмена». Без кода.

Я не знал, что это значит. Отмена встречи? Отмена всего? Или — что она видела, как её муж стоит у моей тележки?

— Буду чинить машину, — сказал я Гоше. — Что ещё мне остаётся.

— И тебе не страшно?

Я подумал.

— Страшно, — сказал я. И, к своему ужасу, понял, что не вру и что мне это нравится.

Гараж Арсена на Шолохова оказался не гаражом, а целым царством.

Два бокса, соединённых проёмом, с ямой, подъёмником и верстаками вдоль стен. Инструменты висели на щитах, каждый в своём контуре, обведённом белой краской, — так, чтобы сразу было видно, если что-то пропало. В углу стоял холодильник «Бирюса», в нём — минеральная вода, лимоны и бутылка армянского коньяка, к которой, как мне потом сказал Рафик жестом, никто не прикасался. На стене — календарь с видами Еревана и фотография молодого Арсена в военной форме, на фоне гор.

Рафик привёз меня в субботу в девять утра. Молча открыл бокс. Молча кивнул на «Вольво». Молча сел на табуретку в углу, закурил и стал смотреть.

Я открыл капот.

Я уже говорил, что не был механиком. Это правда. Но за четыре года на рынке я перебрал своими руками половину запчастей, которые продавал, и научился главному: машина, как человек, всегда говорит, где у неё болит. Надо только слушать.

Я слушал «Вольво» три часа.

Завёл. Послушал на холостых. Погазовал. Заглушил. Снова завёл. Снял крышку воздушного фильтра. Посмотрел свечи. Проверил провода. Залез под машину с фонариком, весь в масле и пыли, и пролежал там двадцать минут.

Рафик курил. Смотрел. Молчал.

В двенадцать я вылез из-под машины и сказал:

— Датчик температуры. Он врёт. Показывает, что мотор холодный, когда он горячий. Компьютер думает, что зима, и льёт бензин, как в мороз. Свечи заливает. Поэтому она и глохнет. В сервисе свечи меняют, а датчик не трогают. Через неделю — опять.

Рафик перестал курить. Посмотрел на меня поверх очков.

— Где взять такой датчик, я знаю, — сказал я. — На Северном у одного азербайджанца есть шведские запчасти. Краденые, наверное. Но настоящие.

Рафик молча встал. Молча вышел из гаража. Через сорок минут вернулся с маленькой коробочкой. Шведской. Оригинальной.

Я поставил датчик за пятнадцать минут. «Вольво» завелась и заурчала ровно, глубоко, довольно, как кошка, которой почесали за ухом.

Рафик послушал мотор. Потом подошёл ко мне. Снял очки. И первый раз в жизни я увидел его глаза — карие, удивлённые.

Он ничего не сказал. Только протянул руку. Я пожал её.

Потом он открыл «Бирюсу», достал бутылку армянского коньяка, к которой никто не прикасался, налил две маленькие рюмки. Одну протянул мне. Мы выпили. Молча.

Это был, наверное, самый длинный разговор, который у нас с Рафиком когда-либо был.

Когда я мыл руки над раковиной в углу гаража, мой взгляд упал на бардачок «Вольво». Он был приоткрыт — я лазил туда за инструкцией. Внутри, среди бумаг, сервисных книжек и пачки сигарет, лежала маленькая вещь, которая блеснула в свете лампы.

Серёжка. Одна. Серебряная, в виде капли, с маленьким зелёным камнем.

Я знал эту серёжку. Я видел её в ухе Тамары на прошлой неделе, в «Левобережной». Она потом жаловалась, что потеряла одну где-то. Думала — в гостинице. Перерыла весь номер.

А она была здесь. В бардачке машины, которую Рафик возил в «Левобережную» каждый четверг.

Я стоял с мокрыми руками и смотрел на серёжку. Если её найдёт Арсен… Если он спросит, откуда в машине серёжка, которую Тамара носила в тот вечер, когда говорила, что была у Фиры…

Я обернулся. Рафик стоял у верстака спиной ко мне. Вешал инструменты на место, в белые контуры. Не смотрел.

Я взял серёжку и сунул в карман.

Когда мы ехали обратно, я поймал взгляд Рафика в зеркале заднего вида. Он посмотрел на мой карман. Потом мне в глаза. И едва заметно кивнул.

Он видел. Он всё видел. Он нарочно оставил бардачок открытым.

В следующий четверг я вернул серёжку Тамаре. Она долго держала её на ладони и молчала. Потом сказала:

— Рафик?

— Рафик.

— Он меня двенадцать лет возит, — сказала Тамара. — И за двенадцать лет ни разу ни о чём не спросил. Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что ему не нужно спрашивать, — сказала она. — Он и так знает. Он единственный человек в этом городе, который знает про Арсена всё. И про меня всё. И молчит. Я иногда думаю — за кого он на самом деле? За него? За меня?

Она вдела серёжку в ухо.

— А может, ни за кого, — сказала она. — Может, он просто за то, чтобы никто никого не убил. Такие люди тоже бывают. Их очень мало.

Глава 7. Утро ужаса № 1

Я проснулся от того, что мне было жарко, мокро и пахло берёзой.

Некоторое время я лежал с закрытыми глазами и пытался понять, где нахожусь. Мозг работал медленно, как старый «Запорожец» в мороз: чихал, кашлял и не заводился. Подо мной было что-то твёрдое и деревянное. На мне было что-то мягкое и махровое. В голове было что-то, что я не могу описать приличными словами.

Я открыл один глаз.

Потолок из вагонки. Полок. Тазик с замоченным веником. Маленькое окошко, за которым серело небо.

Баня.

Я открыл второй глаз и сел. Это было ошибкой. Голова взорвалась, как ящик Гошиных духов на солнце, и я снова лёг.

Я был в бане. В чужой бане. В чужом белом махровом халате с вышитыми инициалами «А. А.».

И я не помнил ничего, начиная примерно с девяти вечера.

Здесь нужно объяснить, как я сюда попал. Точнее, как я мог сюда попасть, потому что сам я этого не знал и восстанавливал по кусочкам всё утро.

Вчера, четырнадцатого ноября, у Гоши был день рождения. Двадцать лет. Круглая дата. Гоша решил отметить её «как люди» — в ресторане. Не в шашлычной у Ашота, а в настоящем ресторане на набережной, с белыми скатертями и официантами в жилетках. На это он копил три месяца, продав наконец остатки «Шанели» в Шахты — правда, не от тараканов, а как «средство для мытья окон с ароматом». Говорили, что окна после этого действительно блестели. Но в комнатах потом неделю никто не мог находиться.

Мы пришли в ресторан вдвоём, в восемь. В новых пиджаках — мой был серый, в ёлочку, Тамарин, Гошин — бордовый, с рынка, от вьетнамцев. Заказали графин водки, салат «Столичный» и шашлык. Гоша чувствовал себя миллионером. Я чувствовал себя другом миллионера.

А в девять часов в ресторан вошёл Арсен.

Это последнее, что я помнил отчётливо. Арсен в тёмном костюме, за ним Рафик, за ним какие-то люди, и среди них — Тамара в чёрном платье с открытой спиной. Она увидела меня, и у неё на секунду остановилось лицо. Потом снова пошло.

Дальше — туман.

Я встал, держась за стенку, и начал расследование. Я тогда ещё не знал, что делаю это первый раз из многих. Что потом я буду просыпаться в самых разных местах — в Москве, Сочи, Бангкоке, Майами — и каждый раз, как сыщик, буду собирать вчерашний вечер по уликам. Но этот раз был первым и поэтому самым страшным.

Улика первая. В кармане халата — ресторанный счёт. Сумма, от которой у меня закружилась голова сильнее, чем от похмелья: четыре тысячи двести рублей. Мой заработок за четыре месяца. Внизу размашистая подпись: «Бублик Г. — гуляем!!!». И ещё ниже, другим почерком, аккуратным и сухим: «Оплачено. А.».

Значит, Арсен заплатил за Гошин день рождения. Почему?

Улика вторая. На полу в предбаннике — женская заколка. Серебряная, с маленьким зелёным камнем. Я поднял её, и сердце у меня остановилось. У Тамары были такие заколки? Я не помнил. Я не обращал внимания на заколки. Я идиот.

Если это её заколка и если её найдут здесь, рядом со мной…

Я сунул заколку в карман халата и тут же понял, что это ещё хуже. Если найдут у меня в кармане…

Я вынул заколку и положил обратно на пол. Потом поднял. Потом положил. Потом выглянул в окно.

Улика третья. За окном был большой участок с яблонями, кирпичный дом в два этажа, гараж и вольер с собачьей будкой. Из будки торчали ноги. Человеческие ноги в бордовых брюках от вьетнамцев.

Ноги принадлежали Гоше.

Я вышел из бани босиком, в халате с чужими инициалами, по холодной ноябрьской траве. Над Доном висел туман. Где-то далеко лаяли собаки и кричал петух. Я подошёл к вольеру.

Гоша спал в будке, свернувшись калачиком. Рядом с ним, обняв его огромной лапой, лежал алабай размером с телёнка. Алабай открыл один глаз и посмотрел на меня. Взгляд у него был такой, что я сразу понял: Гоша теперь его. Навсегда.

— Гоша, — позвал я шёпотом.

— М-м-м, — сказал Гоша, не открывая глаз. — Мама, ещё пять минут.

— Гоша, мы на даче у Арсена.

Гоша открыл глаза. Посмотрел на меня. Посмотрел на алабая. Алабай лизнул его в лицо языком размером с банное полотенце.

— Макс, — сказал Гоша очень спокойно. — Я сейчас закричу.

— Не кричи. Собака не поймёт.

— Собака меня любит, — сказал Гоша, прислушиваясь к себе. — Я это чувствую. Её зовут Пальма. Я ей вчера пел.

— Что ты ей пел?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.